

РЕТРОСПЕКТИВА

С.С.РАПОПОРТ

СОЦИОЛОГИЯ ВРЕМЕН ТОТАЛИТАРИЗМА: КОМПЕНДИУМ ДЛЯ НЫНЕШНИХ

История советской социологии – это внушительный перечень исследований, результаты которых обобщены во множестве монографий, научных и популярных статей, отчетов и справок для “директивных органов”; социологией были охвачены все сферы жизни – тысячи граждан побывали в роли респондентов. Возможность оценить, чего всё это стоило, появилась именно потому, что резкая смена режима и идеологии – фундаментальное событие в жизни любого поколения; грех было бы не воспользоваться такой возможностью. Для этого надо ответить на прямые вопросы: что это было за занятие, которое мы дружно именовали социологией, что в ней сохраняет и сохранит непреходящую ценность, отражали ли исследования тех лет так называемую реальность и т. п. Ответ на эти вопросы частично зависит от того, сочтем ли мы недавнюю эпоху завершившейся и уникальной или будем считать, что она всё ещё длится, лишь поменяв внешние атрибуты.

Сразу же можно констатировать, что официальная социология времён тоталитаризма – как часть идеологического фронта – обслуживала своего хозяина только лояльно, то есть приспособленчески: в стране нарастал всеобщий кризис, а в текстах царил безбрежный социальный оптимизм. Если бы эта социология служила властям по-настоящему, а не по-советски, она могла бы им “прозреть” и тем самым избежать краха или хотя бы отсрочить его; та же социология могла бы помочь “прозреть” общественности. Официальная социология ничего этого не совершила. Отсюда следует законный

Рапопорт Сергей Самуилович – научный сотрудник Института философии и социологии Литвы. Адрес: Saltonškiu 58, 2600 Vilnius, Lithuania. Телефон/факс: 75-18-98. Электронная почта: lfsi@ktl.mii.lt

Часть этого текста опубликована на литовском языке: *Rapoport S. Totalitarizmo laikö sociologija: structuros ir tekstai // Lietuvos mokslas 1997. T. 5, kn. 15, c. 121-133.*

вопрос: может она просто-напросто скончалась вместе с режимом? Или всё-таки оставила след в "сокровищнице человеческого познания"?

Описываемые мной события имеют конкретный исторический фон, а именно — эпохи позднего тоталитаризма, стагнации и полураспада. Эти поздние признаки заметно отличались от ранних: не было уже ни революционного пафоса, ни явной угрозы, всеобщему контролю подвергалось только внешнее поведение граждан, повсеместно все знали о неписаном разрешении на "гражданское раздвоение". В результате цвели конъюнктурный цинизм, различные формы лицемерия и т. п. Короче, оставляя все эти пакости в прошлом, почему бы нам, наконец, не расчитаться с ним и начать новую, подлинную жизнь?

Социологии официальные и неофициальные

Моя частная история социологии началась в конце 1969 года. Появившись тогда в секторе социологии при Институте истории АН Литовской ССР, я застал "смешанный" состав: некоторые из сотрудников, определявшие внешние результаты деятельности сектора, отличались таким незнанием элементарнейших правил эмпирического социологического исследования, что вообще не имело смысла называть эту деятельность социологией. Было бы любопытно "реконструировать", кому конкретно из академического начальства тех лет и зачем пришлось в голову соорудить такую зарплатную ячейку и поименовать ее социологической.

Если бы в тогдашней академической и университетской среде существовало только такое принципиально халтурное направление, немислимо было бы тяготение к этой науке новых adeptов: в начале 70-х годов стал расти престиж социологии как новой и смелой социальной дисциплины; те, кто входил в нее, были бескорыстными (ибо зарплаты младших научных сотрудников были смехотворными) и любознательными. В высших учебных заведениях в те годы социологов не производили, поэтому эта новая когорта начала активно самообразовываться ("социологизироваться"). Постепенно сформировалась та общая ситуация в науке, которую я попытаюсь обрисовать ниже. Теперь — постфактум — можно сформулировать основную характеристику социологии советских времен: ошибкой было бы представлять ее как нечто единое и цельное; было несколько социологий — от официальной до неофициальной, с промежуточными смешанными вариантами; они влияли друг на друга и в целом составляли немалую часть стиля жизни тогдашней интеллигенции. Это касается состояния всех социальных наук в СССР — от центров (Москвы, Ленинграда) до провинции. Прибалтийская ситуация имела свои особенности.

Итак, я бы выделил следующие социологии советского периода:

- 1) "Руководящая" социология (представленная М.Руткевичем, А.Харчевым и др. с соответствующими местными разновидностями), которая агрессивно диктовала науке нормы тоталитарной идеологии;
- 2) К тому же официальному полюсу принадлежала и "рядовая" рутинная социология, послушно адаптировавшая вышеупомянутые нормы;

3) Публично, легально публиковались книги, статьи, лекции тогдашних либеральных лидеров “почти официальной” социологии (Б.Грушина, И.Кона, В.Ядова и др.); как бы в рамках официальной науки эти лидеры фактически конфронтировали с ней; критика, преследования и запреты со стороны властей только поднимали авторитет этих социологов в неофициальной среде;

4) Существовала в официально-публикуемом поле “эзоповская социология”; ее неофициальное содержание выражалось намеками, инверсиями, тропами и т. п. приемами; это содержание открывалось узкому кругу читателей – посвященных, знавших “ключ”;

5) Ходила по рукам полулегальная или нелегальная тамиздатская и самиздатская социологическая литература;

6) Наконец, в профессиональных и близких к ним кругах существовала “устная социология” – часть тогдашней интеллигентской традиции общения.

И официальные, и неофициальные социологии различаются словарем, референтными авторами, правилами чтения, шкалами оценок – и престижем в широкой культурной среде. Следует отметить, что литовские официальные социологические тексты часто были более “либеральны”, нежели центральные, нередко заключали в себе более смелые публицистические аллюзии.

Научное качество и биографические ниши

Помимо идеологических претензий, современные критики советской социологии предъявляют претензии к ее научному качеству. Этот же критерий имеется в виду, когда говорят, что в те времена ощущалась явная нехватка социологов с базовым социологическим образованием. Можно перечислить такие современные требования к профессионализму социолога: корректность методов и процедур исследования, современность методов обработки данных, серьезность, или фундаментальность, методологии и теории, знание трудов классических и нынешних заграничных авторов (особенно пишущих по-английски); подразумевается чтение этих работ на языке оригинала и сознательное присоединение к престижному течению (так, к примеру, местные сторонники Бурдые должны свободно пользоваться его категориями типа “хабитус”). Вообще-то говоря, эти качественные стандарты были хорошо известны и в тоталитарные годы, но нынешние предъявители претензий к прошлому считают, что необходимость придерживаться этих норм научности является просто элементарным атрибутом человеческой порядочности, иначе говоря, их соблюдение не зависит от социальных и личностных условий. Мне же кажется, что это только одна из возможностей.

В большинстве случаев качество социальной науки вписано в контекст реальной социальной ситуации, то есть зависит от того, как относится режим к этой проблеме: поддерживает ли, стимулирует и контролирует соблюдение норм качества – и какие существуют неписанные, но повсеместно принимаемые разрешения на отклонение от названных норм. От тонкого равновесия между этими требованиями и отклонениями зависели в те годы карьера социолога, оплата его труда, престиж и психологический комфорт. В этом

смысле положительным примером почти всегда был Запад – “там зря платить не будут”.

Переходя от абстракций к исторической конкретности, я воспользуюсь понятием “биографической ниши” как общим знаменателем социальной и личностной ситуации. Итак, в советские годы судьбы социологов распределились в нескольких отличных друг от друга нишах, от которых и зависело соблюдение норм социологического качества.

1) Те, кто в советское время смотрел на социологическую работу как на поле для достижения хорошо оплачиваемой (в перспективе) непыльной и престижной карьеры, вынуждены были отодвинуть качественные требования на второй план, поскольку вышестоящие инстанции (академические, партийные и т. д.), от которых и зависел успех, не связывали перспективу ученого с подлинным социологическим качеством; разумеется, их публично провозглашаемая установка была недвусмысленна: “чем выше ученая степень и должность, тем выше качество труда этого ученого”. Однако латентная и достаточно непреклонная установка “верхов” была инверсионной (“наоборотной”): открытие социальной правды средствами социологии конфронтировало с каноном тоталитарной идеологии.

Вместе с тем в условиях Литвы оказавшиеся в этой нише деятели ориентировались не только на идеологическое приспособление (это была прямая формальная зависимость), но и на определенную “либеральность” (неформальная ориентация на групповые, клановые престижные нормы). Тут явная идеологическая “чистота” была немодной редкостью; в текстах и устных выступлениях тогдашних номенклатурных социологов встречались и рискованные политические намеки.

Во время позднего советизма ориентации карьерных социологов начали расходиться. Жесткий режим расшатывался; в социологической среде стали действовать более высокие качественные стандарты, которые привнесли новые адепты; появились первые признаки профессиональной (а не только карьерной) конкуренции. Окостеневшие старожилы постепенно заражались “комплексом профессиональной некомпетентности”, что чаще всего проявлялось в агрессивном отношении к “новым”. Однако вплоть до смены режима управление кадрами и реализация карьерных устремлений осуществлялись по старым правилам (нынешняя ситуация здесь не рассматривается).

2) В следующей биографической нише оказались те жители социологии, для которых место в научном учреждении было просто средством выживания. У них не было ни явных карьерных, ни престижных страстей. “Члены” этой ниши беспресловенно принимали и исполняли открытые и скрытые правила, спускаемые сверху, частично не понимая, что эти правила нередко отклоняются от аутентичных стандартов, а частично понимая, но считая, что “так надо”. Они не собирались нести личную ответственность за качество работы: за него отвечали начальники и система.

3) Наконец, в третью нишу попадают те, кто в тогдашних условиях так или иначе пытались удовлетворить свою социологическую любознательность. Эти участники вполне могли пользоваться системными и локальными

разрешениями на отклонения от качества, особенно в тех случаях, когда слишком высокая качественная принципиальность могла помешать поступлению небольшой, но устойчивой зарплаты. Во всем же остальном соблюдение норм социологического качества было их личным выбором (это касалось прежде всего той зоны реальности, где можно было почти свободно, безопасно или незаметно играть социологичностью). Мотивы такого выбора могли быть самые разные – от фрондерства и добропорядочности до пижонства.

Конечно, перечисленные типы биографических ниш представляют собой упрощенные идеализации; известны редкие случаи социологического диссидентства; в действительности чаще всего встречались смешанные варианты.

Таким образом, в контексте тогдашней социальности никакой самый высокий профессионализм – с базовой подготовкой – не мог бы спасти качество социологии по двум причинам: а) при обслуживании канона тоталитарной идеологии качество профессиональной социологии вообще лишается смысла; б) находясь в конфронтации с этим каноном, текст в принципе не мог бы появиться публично, то есть легально существовать.

Официальная социология

Тексты и реальность. Государственная тоталитарная идеология (частью которой и была официальная социология), претендовала на то, что единственно правильно “отражает” социальную реальность, иначе говоря, что мир существует в соответствии с ее Каноном. Социологии досталось задание – научно (всем престижем современной науки) обосновать тоталитарные идеологемы (во всяком случае, позаботиться, чтобы они воспринимались как достоверные). Означает ли это, что из трудов социологов можно узнать, как тогда жили люди? Ничего бы не оставалось другого, как принять эти тексты на веру, если бы советское время осталось в далеком прошлом, свидетели вымерли и других источников информации не было бы. Между тем, как хорошо известно, конфронтация и опровержение тоталитарных идеологем было занятием немалого числа современников тоталитаризма, и вся эта деятельность составляет важную часть культуры.

Вот типичный социологический труд тех лет – коллективная монография “Социальная активность рабочих”, созданная социологами Института философии, социологии и права АН Литовской ССР и изданная в Вильнюсе в 1977 году (на литовском языке).

1. “XXV съезд КПСС выдвинул задачу – в десятой пятилетке продолжать всесторонне повышать интенсивность производства, его эффективность и качество” (с. 3).

Это одна из типичных выводных формул идеологической конъюнктуры (ссылки на постановления съездов партии, цитаты из классиков марксизма или актуальных лидеров партии и правительства и т. п.). Восприятие этих формул было различным: а) они могли указывать на канонический текст –

как, например, передовицу партийной газеты или статью представителя руководящей социологии; в этом случае вводные формулы были неслучайно связаны с содержанием всего текста; б) формулы могли быть механически вписаны в текст рутинной социологии, как это видно в приведенном примере; в) они же могли значить “дань конъюнктуре”, которую решил отдать автор текста “эзоповской социологии” – об играх таких авторов с цензурой я скажу ниже. При этом адекватное понимание такого идеологического индикатора зависело от даты публикации: во времена позднего советизма подчеркнутая конъюнктурность автора могла означать его стремление подкрепить свои карьерные страсти, то есть создать тип текста, который должен угодить идеологическому хозяину. Бывали, однако, и такие варианты, когда автор пытался прикрыть формулами скрытую неканоничность остального текста, с тем, чтобы облегчить его публикацию. При этом в позднем тоталитаризме незначительные отклонения от канона вовсе не нуждались в подчеркнутом конъюнктурном прикрытии, однако, авторский страх мог “затемнить” такую разрешающую возможность.

В любом случае типичные идеологические формулы никакого правдоподобия, кроме ссылки на содержание партийного документа, не содержали.

2. *“В плане социального и экономического развития коллектива предприятия раздел повышения активности и коммунистического воспитания трудящихся является заключительным, однако в него органически входят все остальные” (там же, с. 3).*

Это утверждение легко распознается “старожилами” как один из фундаментальных признаков идеологической кухни тоталитаритета: идеологема подчеркивает важность установки на воспитание “нового человека”, преодолевающего здравый смысл.

3. *“Социальная активность трудящихся – специфическая черта социалистического общества, органическая часть социалистического образа жизни” (там же, с. 3).*

Поскольку непрерываемо постулируется особая реальность (социологическое общество и образ жизни), ее характеристики – атрибуты прогрессивности и идеальности всех отношений – просто вытекают из нормативной заданности.

4. *Наконец, примеры описания социологической эмпирики: в ходе опроса рабочих в 1974 году им предлагался типичный, почти обязательный для этого жанра вопрос: “Почему вы участвуете в общественной жизни на предприятии?”. Следовало обобщение ответов: “рабочий глубоко понимает значимость общественной деятельности, поскольку польза для общества и его личный интерес совпадают”... На вопрос “Что побуждает вас невыполнить нормы выработки?” 21,8% рабочих “Эльфы” и 29,5% – “Сигмы” указали на заработок... Коллективистские мотивы здесь доминируют” (там же, с. 14).*

Эти последние дескриптивные предложения, по-видимому, утверждают нечто о реальности. Что же означает, – проверить их правдоподобие? Ясно, что большинство современников тоталитаризма делали такое сравнение час-

то интуитивно и даже “автоматически”. Так, например, они прекрасно представляли себе, что это за “общественная деятельность на предприятии”, и каково на самом деле отношение рабочих к материальным стимулам и т. д. Многим из старожилков, которые не занимались профессионально критикой нереалистичности тоталитарных идеологических конструкций, зачастую и в голову не приходило сравнивать идеологемы с реальной жизнью. Иное дело – нынешний молодой читатель тогдашних социологических трудов (хотя представить себе такого довольно трудно). Желая реконструировать тогдашнюю действительность на основании социологического текста, такой читатель должен был бы каждый раз прежде всего перекодировать словарь и контекст идеологического времени на аксиологически нейтральный язык.

Приведенные образцы высказываний иллюстрируют анализируемую проблематику упрощенно. Весь корпус текстов официальной социологии представлял современнику куда более сложные “текстологические” проблемы. Однако всюду он сталкивался с деформацией естественного литературного языка, лексика и предложения которого, попав в контекст тоталитарной идеологии, меняли свое значение. Современники – с большей или меньшей осознанностью – знали эти правила контекстной деформации и применяли их, читая тогдашние тексты.

Так, не занимаясь переводом на нормальный язык, новый читатель вряд ли сможет понять, какая реальность стоит за такими фразами, формулами, будто бы фиксирующими факты из жизни промышленных предприятий: “управленческая культура”, “социально-психологический климат в промышленном коллективе”, “производственная активность”, “социальная адаптация молодежи в трудовом коллективе”, “культурные ориентации рабочих”, “социальная инфраструктура” и т. д. Эти формулы в сочетании с несколькими повторяющимися глаголами и меняющимися цифровыми показателями предопределили содержание и стиль множества социологических текстов, ибо маркировали непрерываемую социально-оптимистическую направленность всех процессов. В том же духе действовали ценностно ангажированные идеологемы и в научной сфере, предопределяя и названия социологических дисциплин, и наименования отделов и секторов, и заголовки исследований и публикаций социологов. Мало того, те же идеологемы метили пределы интерпретаций эмпирических данных, поскольку обобщения не могли не совпадать с заданной оптимистической установкой – таков был казенный заказ социологии тех лет.

В контексте тоталитарной идеологии оба члена устойчивого словосочетания “культура управления” получали значение, отличное от нейтрального словарного смысла, затем они усиливались такими обязательными предикатами, как “рост”, “подъем”, “развитие” и т. п. – вплоть до окончательной формулы – “постоянно растущая культура управления”. Языковые манипуляции отражали также организационные действия, которые регулярно предпринимались идеологами с целью оживить советские будни “новыми” и “прогрессивными” кампаниями: “научная организация труда”, “планирование социального развития”, “автоматические системы управле-

ния”, “рекреационные мероприятия на предприятиях”, “работа заводских социологов и психологов с кадрами с целью гуманизировать отношения в коллективе” и т. п. Все эти мероприятия, несмотря на усердие и искренность некоторых конкретных исполнителей, тонули в идеологическом контексте, неизбежно становясь показательными, фиктивными. Эти кампании сопровождались масштабной бюрократической деятельностью – организацией различного уровня советов по координации социального планирования, смотров, научно-практических конференций. Чтобы попытаться определить, сколько во всех этих затеях было показухи и сколько реальной пользы для работников и производства, потребуется очень сложное исследование – с целью выяснить, как упомянутые идеологические процедуры пересекаются с теневой, вне-идеологической прагматикой хозяйствования.

Из всех официальных программ совершенствования жизни, в которых участвовали социологи, пожалуй, единственно достоверным мероприятием бывало улучшение технических условий труда (освещенности рабочих мест, шума, температуры в цеху и т. п.); в ходе социологических опросов выяснились претензии тружеников, после чего администрация зачастую шла им навстречу. Во всем остальном показная активность была очевидной для старожил: планы социального развития, красиво переплетенные, как правило, годами пылились на полках, извлекаемые по случаю визитов гостей или комиссий; заводские социологи и психологи даже с официальных трибун постоянно жаловались на то, что используются на предприятиях не по специальности. Достаточно типичен эпизод, в котором довелось участвовать автору: социологам было заказано исследование социально-психологического климата на заводе, причем еще до начала исследования нам показали смету, где была подсчитана эффективность внедрения результатов (в тыс. руб.). В те времена на предприятиях предусматривались средства на “научную организацию и внедрение”, так что обе стороны – заказчики и исполнители – были взаимно довольны.

Вершиной показухи поздних советских лет было создание Республиканской комплексной программы научно-технического прогресса до 2005 года; возглавлял это мероприятие премьер-министр республики, социологи (включая автора) обслуживали раздел “Социальные проблемы”. На все эти начинания расходовались немалые средства.

Соответственно, в общем идеологическом контексте меняли смысл и показатели социологической деятельности, в том числе – защита диссертаций, проведение плановых исследований “на актуальную тему”, порядок публикации социологических трудов, отклик на них среди широкой общественности. Так, термин “общественность” в тогдашнем контексте относился к официальным кругам; их интерес к социологическим публикациям и позитивная оценка, выражавшаяся, допустим, в рецензиях в официальной печати (кстати, такие рецензии нередко специально “организовывались”) часто имели “обратный смысл”, в то время как негативные отзывы официальной общественности (в том числе – научной) чаще всего означали подлинное качество текста и на самом деле способствовали его успеху в неофициальном общественном мнении.

В состоянии ли был тогдашний читатель проверить реалистичность социологических произведений с помощью других легальных источников информации? Ответ негативный: все эти источники были ангажированы идеологией – и данные официальной статистики, и материалы периодики, и даже фото- и кинодокументы. В последнем случае изображение соответствующим образом режиссировалось, монтировалось, ретушировалось; кинохроника, пользуясь лицом, телом, другими уникальными атрибутами реального человека, превращала их в идеологические знаки. Точно так же реальный рабочий, став героем газетного очерка, становился носителем тех же знаков, а рабочие, попавшие в выборку социологического исследования и ставшие респондентами, помогали создавать социологический мираж.

Наконец, следует упомянуть и такой источник проверки официальных текстов как нелегальная антитоталитарная литература: в ней давно были и точные наименования, и соответствующие оценки для всего, что тогда происходило в жизни и науке. Однако этот источник был доступен немногим.

Тоталитарный утопический мир, его жители и соседи. Сравнить тексты тоталитарной идеологии с реальностью бессмысленно, в них она не отражалась и не искажалась. Опираясь на известные идеи утопистки, можно сказать, что идеология тоталитаризма создавала параллельный мир со своей антропологической презумпцией, которую можно назвать утопической моделью человека. Это был всеобъемлющий Канон, значения которого не имели денотатов (за исключением – самих признаков тоталитаритета в реальности). Утопический человек – это соответствующий известному общественному идеалу образ социально активного труженика, отождествляющегося с ценностями прогрессивных коллективов (партии, трудового коллектива и т. п.). В этом утопическом мире канонизированы эталоны биографии, образа жизни, мыслей и поведения утопического человека. Не учитывая несоизмеримости тоталитарной утопии с реальностью, искренние критики отдельных пороков режима то и дело попадали в семантический капкан этой несоизмеримости.

“Правильный”, организованный согласно утопической модели мир располагался на территории мира “хаотического” – нормальной стихии человеческой повседневности, онтологический статус которой был в этой утопии явно не определен: между тем признается существование “несовершенных” участков универсума, состоящих из: а) “врагов” внутренних и внешних, нынешних и бывших (последние представлены пережитками в сознании следующей подгруппы), б) “заблуждающихся”, недостаточно закаленных идейно, для которых предусмотрена возможность исправиться, т.е. достичь Канаона.

Упомянутая выше “стихия нормальности” представлена в сознании жителей “здравым смыслом” – априорным, ненаучным обобщением условий существования и социализации; это общий социальный опыт взрослых психически нормальных людей в данную эпоху; тоталитарные идеологемы воспринимались как нормальные, утопические именно с точки зрения здравого смысла.

реальных денотатов, или “под них” создавались искусственные; пожалуй, даже базовые понятия естественного языка и новоречи в реальном и утопическом контекстах различались по значению. Сочетание этой искусственности с вполне материальной агрессивностью режима создавали “гремящую семантическую смесь” как в адаптационном механизме рядового жителя, так и в мировосприятии многих теоретизирующих рефлексантов. Эта смесь будет долго воспроизводить метастазы в общественном осознании.

Структура социального универсума позднего советизма усложнялась еще и тем, что современникам был доступен (несмотря на множество ограничений доступа: спецфондами, допусками “для служебного пользования”, “для научных библиотек” и т. п.) широкий корпус текстов традиционной, классической культуры, не траченных молью идеологической обработки. Эта Библиотека формировала социально-философскую критику тоталитаризма и новых ее адептов, интеллектуально обосновывала мировосприятие нормальности. Между этими полюсами развился особый адаптационный механизм той части интеллигентов, которые кормились гуманитарной познавательной работой: они достаточно свободно владели правилами создания и чтения “эзоповских” идеологических текстов, знали структуру идеологического хозяйства тоталитаритета и умело пользовались “слабостями”-прорехами контроля. Впрочем, даже искренние поклонники официоза неизбежно проживали в приватной повседневности здравого смысла; это сказывалось в противоречивой гамме явного и скрытого поведения.

Официальная социология: организация и цензура. В 70-е годы в стране развилась более или менее разветвленная система социологического познания, хотя познавать-то собственно было нечего: утопическая конструкция была задана сразу и навсегда, она могла становиться только лучше и лучше. В тоталитарном мире в принципе ничего не могло случиться – ничего случайного или непредвиденного; вся история была предусмотрена в каноне. Потому будни официальной социологии определялись сплошным контролем – за соблюдением Канона в официальных, в том числе социологических, текстах. Это, в сущности, была борьба с проявлениями неорганизованной стихии нормальности, неизбежно проникавшей во все поры будничного тоталитарного механизма. При этом Канон был настолько авторитетен и логичен, что любой цензор, рецензент или критик – во всех уголках Союза – мог извлечь из него (по крайней мере, из его упрощенной для будничной практики версии) меру отклонения данного текста.

В первую очередь идеологический контроль касался учреждений, производящих тексты актуальной идеологии. В социологических подразделениях (как, впрочем, и других гуманитарных) это был одновременно контроль отношений и судеб работников (так, от идеологической активности одних зависели их карьеры, от идеологической покорности других – отношения и жалование).

Тем самым в условиях тоталитарного регулирования научной деятельности сформировались парадигматические и организационные отклонения от норм научного качества. Строгому контролю сначала подлежала не только

идейная чистота, но и все детали текста – вплоть до индивидуального стиля; позже детали были “отпущены на свободу”, а соблюдение известных стандартов научности стало зависеть от биографического, личного выбора. В условиях общей социальной безальтернативности лишены были смысла “демократические” атрибуты социологических методов – анонимность опросов, указания на важность мнений респондентов и их учет для улучшения условий жизни и т. п. Обо всем этом сообщалось в начале каждой анкеты, но тогдашние граждане мало верили этим заверениям; сами опросы часто воспринимались в те годы (особенно неинтеллигентами) как очередные ухищрения начальства. Вопросы навязывали людям операции с идеологическим кодом и другими искусственными ситуациями (например, принуждая их обсуждать проблемы коммунистического воспитания и общественной деятельности). К парадигматическим деформациям можно причислить и наукообразные попытки сочетать математические методы обработки данных с утилитарным их основанием.

В условиях тоталитарного регулирования сформировался бюрократический режим работы учреждений социальной науки (строгое планирование тематики и форм исследования, формальная количественная оценка результатов труда и т. д.). Этой системой не предусматривались какие-либо научные открытия, кроме новых попыток более убедительной подачи идеологической конъюнктуры (причем такие находки дозволялись лишь лидерам). Социологи занимались производством рутинной плановой продукции, которая в широком культурном контексте не имела и, по сути, не предусматривала реального адресата: авторы и обязательные рецензенты обычно исчерпывали весь круг читателей, за исключением некоторых высоких контролеров, отвечающих за идеологическую чистоту.

В качестве конкретной иллюстрации вспомню процедуру контроля, которая была обязательна для публикации текущей статьи рядового научного сотрудника в местном академическом журнале: 1) для обсуждения текста в секторе нужны были две письменные рецензии, подписанные учеными не ниже кандидата наук (текст рецензии должен был быть положительный плюс один абзац с указанием мелких недостатков; нередко “болванки” рецензии заготавливали сами авторы); 2) затем статья читалась и обсуждалась в секторе, а протокол с рекомендацией опубликовать прилагался к статье; 3) затем текст читал руководитель научного учреждения, который подписывал его в печатном виде (тексты большого объема еще обсуждались на ученом совете, выделявшем своих рецензентов); 4) за дальнейшее прохождение текста уже отвечали главный редактор журнала, редколлегия и непосредственный редактор статьи; 5) наконец, важнейшая контрольная инстанция – цензура (Главлит), где надо было получить две санкции – сначала печатать, затем распространять тираж. Опубликованный текст попадал под контроль вышестоящих партийно-идеологических инстанций; их реакция имела четко разработанную шкалу: нулевая – означала нормальное прохождение текста; негативная – могла быть выполнена в форме телефонного звонка руководству института; более суровый вариант – рецензия или абзац в обзоре в официальной печати;

самый мрачный – упоминание в руководящем докладе на важном идеологическом совещании. При этом степень нарушения канона отмечалась или безымянным намеком (мягкий вариант), или открытым упоминанием имени нарушителя – с соответствующими этикетками-формулами, дозирующими вредность авторов и издателей; каждая такая реакция предусматривала соответствующую санкцию. Марсианину могло бы показаться, что после такой скрупулезной селекции в печать попадали лишь тексты высочайшего научного качества. На самом деле во имя идеологической непорочности сплошь и рядом совершалась и поощрялась шаблонизация содержания и формы текстов: применение апробированных шаблонов значительно снижало ответственность редакторов и пропускателей, страхуя их от всяких неожиданностей. Разумеется, во всей этой издательской канители бывали и исключения, особенно в литовской “либеральной” научной практике; иногда даже контролеры и авторы негласно сотрудничали, обходя какие-нибудь второстепенные требования канона.

В вертикальной структуре научного заведения доминировала иерархия идеологической ответственности: ученые имена, степени и должности отмечали не уровень научных достижений, а степень ответственности перед вышестоящими в казенной и партийной структурах за идеологическую правоту – свою и подчиненных. Бремя упомянутой ответственности иерархически компенсировалось разнообразными благами и привилегиями.

Личностные деформации. Мельница официальной социологии перемолола немало человеческих судеб. Долголетнее отождествление с нею, с рутиной ее будней деформировало личность научного работника. Естественная любознательность постепенно атрофировалась, развивалась адаптация к правилам имитации научности.

В своих трудах социологи должны были создавать эмпирические и теоретические описания несуществующего объекта (утопического героя); в то же время те же социологи, занимаясь частными жизненными делами, проживали в стихии нормальности. Такое раздвоение, став нормой повседневности, не могло не отразиться на личности социолога. В среде профессионального отчуждения он теряет духовную автономию, воспринимая себя как пассивную частицу “системы” или “конторы”.

Субъекты (авторы) и объекты (респонденты) социального исследования были подобны: публичные проявления, так и их отображение в социологических работах (поэтому нынешние куда более активные объекты “не влезают” в прежнюю социологическую парадигму).

В результате ученые участвуют в глубинной рутинизации научной деятельности: внешние признаки их работы могут достигать высочайших показателей, а по сути царят консервативность, избегание новых научных решений; труженики науки стараются не нарушать равновесие рутинной организации труда, гарантирующей – кроме “идейной безопасности” – и финансирование, и стабильность внутриклановых иерархических отношений. В социально-психологическом смысле эта рутинизация оставила глубокий след в

психике современников тоталитаризма и стала почти основным неявным признаком сословия, выражением его социального опыта и адаптации. Безликость сотрудника обычно компенсируется внешними должностными и престижными отличиями.

Официальная социология — “для служебного пользования”

Цензурирование текстов естественным образом переходило в операции в зоне “секретности”. Мир текстов делился на две группы: открытую (где они были теоретически доступны всем) и закрытую (где тексты были доступны только для “служебного”, “секретного” и “совершенно секретного” пользования — вплоть до полного запрета печатания или распространения, т.е. уничтожения данной социальной информации). В официальной социологии были и свои формы закрытости — от секретных диссертаций, защищаемых в закрытых ученых ареопагах до закрытых, заказанных “сверху” социологических исследований, непубликуемые результаты которых возвращались к заказчикам, в частности, в виде отчетов “для директивных органов”.

Можно схематически упорядочить общеизвестные признаки культа всемогущей и всезнающей власти (особенно — тоталитарной); прерогатива секретности — один из центральных ее атрибутов. Согласно властной мифологии, ее иерархическая позиция не случайная или заслуженная, а “харизматическая”. Мир делится на три ценностно неравные аудитории: 1) представителей власти — хозяев жизни и, соответственно, важной для жизни информации; 2) рядовых субъектов истории, которым присуще лишь понимание своей приватности; социальная информация, призванная обобщать именно их историческую деятельность, им самим не может быть доступна — по причине врожденной неспособности правильно понять свою стратегическую судьбу; пользуясь полнотой информации, власть имущие и устраивают жизнь рядовых граждан; 3) между этими двумя группами находятся институционализированные обществоведы, которые и получают из рук власти лицензию на доступ и производство социальной информации; этот допуск компенсировался, как известно, различными не менее тайными благами — конечно на высоком ответственном уровне.

Однако на территории тоталитаризма все операции с секретностью социальной информации становились сплошным парадоксом. Ее содержание можно определить только оценочно — в сравнении с требованиями Канона тоталитарной идеологии; нейтральной объективности тут не могло быть. Таким образом, если социологическая информация давала позитивные результаты (“жизнь все хорошеет”), то их естественно незачем было скрывать: если она содержала легкие отдельные недостатки, то это тоже на разных этапах тоталитаризма вполне пропускалось в печать (например, в форме критики и самокритики). Если же считать социальной истиной то, что не совпало с каноном, то такой образ действительности не мог в принципе появиться в легальной печати и стать объектом общего обсуждения: а) негативные тексты могли быть попыткой внешних и внутренних врагов фальсифицировать

правду и сознательно ввести в заблуждение незакаленных граждан; надлежало изымать такие вредоносные тексты из обращения; б) хаотическая, еще не обработанная каноническими средствами стихия теоретически могла в качестве сырья истории проникнуть в недостаточно проконтролированные тексты науки; в этом случае они могли бы иметь хождение только в среде “для служебного”, “для узкого научного” пользования – для соответствующей “сублимации” (такowymi могли быть, например, работы заблуждающихся друзей социализма из зарубежных стран). Однако такая временная гибкость в применении канонических норм не имела принципиального значения. Известно, что даже в секретнейших текстах в секретнейших учреждениях отрицание канона было немислимо; во времена позднего тоталитаризма руководство было сознательно дезинформировано – это была сложная семиотическая игра, когда власть имущие знали, что их дезинформируют, а информаторы знали, что те знают и поощряют и т. д. Оперативная же информация – о частных нарушениях и отклонениях – не могла быть обобщена.

В этих условиях могло показаться, что засекречивание социальной информации вообще лишено какого-либо смысла. Это не так. Во-первых, само манипулирование секретностью, как известно, есть привилегия власти – для поддержания в обществе страха и образа загадочности управления. Накануне распада казалось, что почти все население знает негативную правду о режиме, свирепствовали анекдоты и пародии, однако угроза со стороны власти, пусть и не такая основательная, как в бодрые времена, была все еще вполне впечатляющей, чтобы не разрешить людям публично обмениваться своими негативными знаниями; пока власть могла поддерживать этот страх, тоталитаризм еще был дееспособным. Во-вторых, ритуал секретности имел и более материальный смысл – скрыть от “наивных” жителей “наготу королей” и своекорыстность представителей власти. В эту игру втягивались и обслуживающие социальные ученые, тоже заинтересованные в том, чтобы скрыть от населения свою псевдонаучность и плату за нее – из кармана налогоплательщиков (так, закрытость ученых советов по защите диссертаций служила куда более легкому их “пробиванию”).

Образ секретности отношений был бы неполон, если не помянуть еще две ситуации контроля: первая – это круг близких друзей, в котором традиционно кружились непубликуемые истины и который был под постоянной опекой стукачей; вторая – сознательный или бессознательный самоконтроль: в психику интеллигента в те времена легко проникали тени госбезопасности.

Нужно отметить и то, что многолетнее сосуществование институтов контроля и безопасности – и интеллигенции часто создавало для нее вполне комфортные условия выживания. 1) До самых верхов управляющего механизма его функционеры любили ссылаться на зажим со стороны еще более высоких уровней и ГБ, на фоне которых они выглядели в своих глазах и хотели казаться фрондерами, которым власти мешают творчески развернуться. Так, в конце 60-х гостил у нас крупный социологический чиновник чуть ли не из самого ЦК КПСС, который на общем собрании социологов (впрочем, нас тогда было очень мало) широким либеральным жестом пригласил при-

сутствующих фиксировать самую неприкрытую социальную правду и, минуя местные инстанции, напрямик слать в ЦК; там, мол, есть *силы*, которые используют наш материал для немедленного улучшения народной жизни. Молчание и кривые усмешки были ему ответом – со стороны нашей социально и социологически зрелой публики. Эта разновидность вышестоящей лихости уже была нам знакома; 2) идеологически усердным и доносчикам были гарантированы успешная карьера и чувство безопасности; 3) “тихим оппозиционерам” в условиях сплошного контроля легко было оправдать и свое безделье, и отклонения от норм научного качества (“халтуру”); к тому же обнаруживая в себе тайные, преследуемые режимом мысли, интеллигент заслуженно выхаживал в себе чувство гражданского достоинства.

Описываемая здесь проблематика еще не стала архаичной, инерция детективных отношений социологии с властью продолжается. С одной стороны, в наши постутопические времена мифология власти быстро разваливается. Население все меньше доверяет механизмам отбора ее представителей и сомневается в их праве на иерархические места и владение информацией. Борьба за информацию становится формой политического сопротивления; именно оппозиция в этой борьбе может использовать правдивую социальную информацию (пока не пришла к власти). С другой стороны, любое предложение со стороны современных властных заказчиков произвести науку “для служебного пользования” – это предупредительный сигнал для нынешней социологии, поскольку качество актуального социального исследования зависит от его публичной открытости. Социальная информация о жителях, скрываемая от них в казенных, государственных интересах, обесценивается, а социология вместе с властью вовлекается в искажение социальных целей. Короче говоря, секретность социальной науки – это ее отрицание.

Самые общие правила чтения легальных социологических текстов

Фактически речь идет не только о чтении, но и о правилах писания-чтения, поскольку это была совместная игра автора-читателя: первый, создавая текст, моделировал нужное восприятие, второй должен был декодировать текст соответствующим образом. Разумеется, в текстовой коммуникации всегда существовала и другая “игра”: придание текстам смысла, который сознательно не предусматривался автором и который объявлялся произвольно. Эта игра асимметрична: читатель оказывается “хитрее” автора, применяя к тексту метаконтекст. Цензор-редактор, занимаясь дешифровкой политического подтекста, вел себя несколько иначе: он в итоге должен был приписать спрятанные намеки сознательной политической вредности автора, хотя бывали и более снисходительные решения – о неосознаваемой вредности. В данном случае речь идет о симметричных операциях с текстами, относящимися к легальной социологии, появившейся в печати.

В обобщенном виде можно выделить три группы правил чтения: а) прямое, *буквальное восприятие текста*; в этом случае идеологемы понимаются как реалистические. Кажется, в позднем тоталитаризме такое восприятие

было уже редкостью; б) *инверсионное* (“наоборотное”) чтение текста, когда, например, идеологическая формула “неуклонно растет народное благосостояние” читается как “неуклонно падает...” Нередко такое правило применялось в диссидентстве, в пародиях, и несло в себе столько же смысла, сколько и при буквальном восприятии; в) *иносказательное* (эзоповское) чтение текста (“между строк”) было широко распространено и становилось гордостью интеллигентской коммуникации. Структура такого прочтения примерно следующая:

1) прямое, *буквальное* значение текста предусматривает официального воспринимателя (цензора, начальника и т. п.): автор текста должен достаточно четко играть формулами идеологического канона, чтобы заставить этого читателя понять-принять текст прямолинейно; 2) *латентное* значение текста адресовалось принципиально другому кругу читателей, причем предыдущий читатель не должен был его понимать; 3) *ключ* к латентному чтению – это достаточно сложные индикаторы, присутствовавшие в самом тексте, контексте и внетекстовой среде. Они составляли знаковую компетенцию второго типа читателей.

Как уже говорилось, на пути текста в легальную печать стояли редакторы, одной из функций которых и была дешифровка тайных кодов с тем, чтобы разоблачить перед ответственным но непрофессиональным читателем ухищрения эзоповского способа письма.

Внетекстовых значений, о которых говорилось выше, в коммуникации любой эпохи было множество. Так, ранее уже упоминались случаи, когда во времена позднего тоталитаризма читатель наткнулся в социологическом произведении на подчеркнута прямолинейные идеологемы, касающиеся партии, социализма и т. п. Участник коммуникации мог легко угадать автора: или его руководящий пост в официальной иерархии, заставляющий его точно следовать канону; или усилия начинающего карьериста; или потуги хитрого эзоповца – компенсировать нецензурные смыслы текста; или, наконец, ритуальные жесты запуганного и проштрафившегося автора, означавшие моление о прощении (вспоминается случай, когда моя черноватая писанина однажды удостоилась нелестного внимания чиновника, стоявшего гораздо выше, чем я, в научной системе; такое нарушение правил вертикали ничего хорошего не обещало, и тогда мой непосредственный начальник с самыми благими намерениями агитировал меня написать густо-красный текст, каковой он мне поможет опубликовать в партийной газете: “наверху” правильно поймут этот жест покаяния и позволят мне продолжить получение зарплаты в нашем симпатичном заведении).

“Эзоповская” социология и ее отношения с контролем

Социология намеков существовала на территории официоза, т.е. публиковалась в легальной печати, под официальными рубриками (“мимикрия”), но вела тайную жизнь: ее авторы хорошо знали структуру тоталитарного контроля тестов и ловко пользовались ее слабостями.

Стихия нормальности была хроническим источником всяческих идейных неожиданностей, которые невозможно было канонизировать. Поэтому цензурирование текстов — особенно в позднем тоталитаризме — содержало две зоны: жесткую, где требования канона были обязательны и едины для всего СССР, и недоопределенную, в которой цензоры и редакторы должны были принимать личную (или — коллективную — в виде оценочных комиссий) ответственность за пропуск всего текста, его частей или деталей в легальную печать.

Точно такой же контрольный континуум действовал на всех участках социологической деятельности. На одном полюсе концентрировалось все, что непосредственно касалось идеологического воздействия на граждан; тут контрольная бдительность была непобедима, а эзоповские усилия бесполезны. На противоположном полюсе находились второстепенные с этой точки зрения сферы жизни. Между полюсами было множество промежуточных звеньев с нефиксированными уровнями контроля. И конкретнее: а) направления социологической работы: к полюсу жесткого цензурирования относились такие объекты исследования как — партийная работа, коммунистическое воспитание молодежи, деятельность средств массовой информации и т. п.; на противоположном полюсе — быт, семья, технические условия производства, формы проведения свободного времени и т. д.; б) социологические методы и процедуры: здесь уровень бдительности тоже зависел от предыдущей типологии, но вообще текст анкеты цензурировался более внимательно, нежели, например, форма бюджета времени; значащие публичные объекты — имена деятелей, списки праздников и т. д. — не могли быть представлены респондентам произвольно, а только в соответствии с канонизированной иерархией значимости; в) структура социологического текста контролировалась по тем же критериям: вводные, теоретические и обобщающие разделы удаивались более пристального внимания цензуры, чем эмпирические и срединные; г) структура научного учреждения контролировалась особым образом. Как уже говорилось, ответственность за идеологическую чистоту росла вместе с ростом должностей и ученых степеней. Если младший научный, введенный в заблуждение внутренним цензором и инстинктом социального самосохранения, изготовлял текст, отклоняющийся от канона, он в наименьшей степени отвечал за свое творчество, ибо имел определенное право на заблуждение, в то время как его начальники обязаны были следить за правотой подчиненных. При этом идеологическая ответственность начальства и редакторов была совершенно конкретной: они рисковали карьерой, должностью, партийной принадлежностью. Вместе с тем можно сформулировать некую абстрактную ответственность чиновника — перед Наукой, Обществом и т. п., которым они причиняли вред, “зарубив” действительно ценную работу, однако такого рода ответственность в наших тогдашних кругах не была замечена.

Умелое применение знания перечисленных особенностей идеологической структуры входило в компетенцию опытного социолога-эзоповца: обобщения надо было перемещать в менее контролируемую часть текста, стилистически “занижая” меру авторских претензий и т. п.

Детальнее эзоповскую технику организации двойного чтения текста я собираюсь показать на примере собственной статьи, которую причисляю к описываемой категории. Дело было в 70-е годы – самого цветения застоя. Текст назывался “О социально-психологических барьерах стимулирования трудовой активности рабочих”, опубликован в “Трудах АН Литовской ССР”, серия А, в № 4 за 1976 и № 1 за 1977 г.

1. Заголовок – очень важная деталь эзоповской стратегии – содержал клишированные идеологические формулы (“трудовая активность”, “рабочие”, “стимулирование”), включавшие инерцию конъюнктурного восприятия; тематика была привычная, апробированная, часто заказываемая “сверху”, тем более – в данном случае – оптимистически ориентированная в сторону улучшения социальной ситуации. С другой стороны, название включает в себе сигнал легкого “негатива”: предстоит обсуждение трудностей стимулирования (в самом тексте описываются и худшие вещи – трудовая пассивность рабочих, “материальный фетишизм”, симуляция активности, вплоть до проявлений отчуждения, о чем в марксистской социологии было запрещено говорить).

2. Всю эту “чернуху” в тексте следовало смягчить, “компенсировать” различными типичными средствами:

1) *Указатели ограничения уровня обобщений негативностей* – это применение таких формул как “только некоторые моменты”, “отдельные отрицательные черты”, “изредка встречаются”, “некоторая, незначительная часть рабочих”, “недостаточно эффективны” и т. п. Цель этих индикаторов – показать контролеру, что описываются лишь незначительные отклонения от канона – на фоне общей оптимистической панорамы. В рутинных идеологических буднях таких знаков бывало достаточно, чтобы пригласить редакторов к участию в игре “в поддавки”, снижавшей их ответственность. Другое дело – конфликтная ситуация, которая могла быть вызвана и любыми внетекстовыми напряженностями; тут уже редактор вынужден был “разоблачать” лицемерность трюков.

2) Тем же целям служили и ограничительные оговорки типа – “текст носит дискуссионный, гипотетический характер”, “печатается в порядке обсуждения” и т. п. Эти формулы смягчали жесткость цензурирования, ссылаясь на неписаную конвенцию – о темах, в обсуждении которых уже допускались некоторые слабые неканоничности.

3) *Указатели публикационного прецедента*. Пробиванию текста помогала и ссылка на чью-либо предшествующую публикацию, в которой уже был легализован отрицательный социальный факт и тем самым апробирована соответствующая сфера легальности (это означало, что текст-предшественник прошел все инстанции цензуры и после публикации не был раскритикован за нарушение канона). При этом публикация в идеологических центрах (Москве, Ленинграде) имела более сильную разрешающую лицензию нежели – в провинции. Так постепенно расширялся общий фонд дозволенностей.

4) *Формулы идеологической преданности* (указания на съезде партии, цитаты из классики марксизма, подчеркивание достижений социализма и

т. п.). К их числу относятся использованная в моей статье идеологема “творческая активность трудящихся” и цитата из В.И.Ленина, которая, помимо подыгрыша цензуре, должна была устами классика сформулировать “утопическое” отношение к труду, отрицанием которого и была эта статья.

К частным тактикам можно отнести и попытки преодолеть закрытость официального кода с помощью введения в научный языковой оборот вульгарных “терминов” из неканонической сферы, то есть стихии нормальности и промежуточной прагматики (о которых речь шла раньше), таких, как “текучка”, “показуха”, “халтура”, “сачкование” и т. п. Эти обороты речи были широко распространены в неофициальной производственной жизни, мгновенно узнавались практиками – и тем самым вносили в легальные социологические тексты некоторые черты антиутопичности.

Цензурная деятельность в поздние советские времена вовсе не была образцом последовательности и согласованности; как и везде, здесь было немало и случайного, и неопределенности, и самодеятельного, и просто халтурного. Впрочем, эти несовершенства системы с лихвой окупались страхом авторского сословия, иначе говоря, усердной внутренней цензурой.

Непосвященному читателю тексты эзоповской социологии могли показаться ничем не отличающимися от официальной. Свое латентное значение они могли открыть лишь читательскому кругу, знающему “ключ”.

Среди множества “отмычек”, знание которых входило в компетенцию бывалого социолога, можно отметить: а) имя автора, гарантирующего качество текста – для тех, кто включил его имя в свой список; б) сигнализация негативности в заголовках, порой весьма нюансированная; в) указатели ограничения, упомянутые выше, читались “наоборот”: как знак авторских претензий на расширенное обобщение “темных пятен”; г) стилистическая нестандартность текста, ирония и т. п.; д) нетипичное уклонение автора от идеологических клише; е) заметная сложность изложения, теоретичность, использование незатертых ссылок на чужих авторов.

Опираясь на эти и другие знаки и значения эзоповской (и “либерально-лидерской”) социологии, в официальной и полуофициальной среде тех лет происходила и своеобразная “потаенная” общекультурная коммуникация; могу в качестве примера привести случай, когда, получая от директора института решающую подпись для публикации в “Научных трудах АН”, я услышал от него неожиданную для директорского кабинета фразу: “Есть тут у вас правда, но, увы, не вся” (свидетелей не было). Иногда казалось, что все эти аллюзии стали такими прозрачными, что все их давно понимают и участвуют в безопасном “сговоре”, или же не участвуют в нем только потому, что считают эту игру несерьезной и детской. Серьезность в данном случае могла означать: исполняй назначенную тебе рутинную работу, не пытайся “делать науку” и не дразни “хлебодателей” (они тоже делают то, что им велют).

Так или иначе, руководящие идеологические указания в социологии, как правило, были инверсированными: их прямой текст требовал как можно более высокого научного качества, в то время как скрытый, подразумеваемый смысл был “как раз наоборотный” (не вздумай выполнить прямое указа-

ние, ибо сделать это можно было, только нарушив идеологический канон). И тут перед нами вторая важнейшая часть культурной компетенции тогдашнего обществоведа: он должен был уметь читать поощрение редукации качества и стандартизации социологических идей и методов, и уметь к тому же “одеть” эту халтуру в конъюнктурные идеологические одежды (надо сказать, что это последнее умение было, пожалуй, самым распространенным).

Таким образом, получив сверху плановое задание, социолог оказывался перед альтернативами: или точно следуя утопическому заказу, подогнать под него эмпирику и текст, или сложить двусмысленный текст, который якобы соответствует заданию, а “контрабандой” проводит отклоняющиеся идеи, или, наконец, вовсе отказаться от задания – вплоть до открытого конфликта.

Сведение концов

В любом цивилизованном обществе неизбежен определенный процент двусмыслия и показного поведения индивидов, групп и институций. Но в тоталитарном мире нагрузка на психику сожителя была неизмеримо выше. В первую очередь это касается интеллигентов, занимавшихся интеллектуальной деятельностью в области социальных наук. Живя на пересечении двух миров (нормального и тоталитарного), им приходилось осваивать и пользоваться множеством семиотических кодов. Обобщая изложенное ранее, можно представить это многообразие следующим схематическим образом. Речь идет прежде всего о восприятии текстов тогдашней актуальной культуры.

1) Для начала читатель имел дело с ортодоксальными текстами тоталитарной идеологии, содержание которых предлагалось читать буквально, то есть как описание реального мира. Соблюдение канона допускало некоторое разнообразие тем и стилей изложения; например, в трудах руководящих социологов тех лет можно было наслаждаться тонкостями схоластики истмата и научного коммунизма.

2) Сложность восприятия немедленно возрастала, если читать руководящий текст как руководство к социологическому действию, иначе говоря, если реагировать на требования “повышения качества, жизненности, правдивости, актуальности и т. п. социологических исследований”. Дело в том, что нормативы тоталитарной социологии неявным образом навязывали такое понимание научной добросовестности, которое принципиально не совпадало с традиционно-культурным: ортодоксальное понимание на практике приводило к производству содержательной тавтологии – нескончаемому воспроизведению идеологического канона; традиционно-культурное понимание научной добросовестности требовало учесть несовпадение тоталитарной модели мира с фактами стихии нормальности, то есть приводило к конфронтации с каноном.

3) Источником традиционно-культурной морали в науке было не только осознание этого несовпадения и следование нормальному мировосприятию, но и усвоение ценностей классической культуры, тексты которой – даже в пределах тогдашней доступности – настраивали на противостояние идеологическим канонам тоталитаризма.

Мне довелось наблюдать характерный конфликт между руководителем социологического учреждения и аспиранткой: первый требовал от нее добросовестности в научной работе, вторая же, с моей (и не только с моей) точки зрения, воплощала добросовестность. Обе стороны были вполне искренни, только начальник понимал ее в духе тоталитарного канона, а аспирантка – традиционно-культурно.

4) Таким образом, лексическое совпадение провозглашаемых в тоталитарном тексте нормативов научности с традиционно-культурным их выражением создавало семантический конфликт в психике “наивного” адепта и вело к конфронтации с бюрократией научного учреждения. В этом смысле можно утверждать, что для зрелого участника тоталитарного научного процесса в самой внетекстовой атмосфере тогдашней жизни заключался запрет на буквальное понимание руководящих лозунгов. Для рутинной социологии эта установка означала чисто формальное, показное исполнение нормативов; создавался стерильный текст, удовлетворявший официальных заказчиков.

5) Наконец, дальнейшее созревание части участников приводило их к поиску обходных путей – мы оказывались в Эзопии с ее правилами создания и чтения иносказательных текстов.

Особняком стояли те интеллигенты, которые полностью отвергали тоталитарный канон вместе с его легальной печатью.

Такой “перевернутый” мир порождал множество фиктивных ценностей культуры – текстов и структур, коверкал человеческие судьбы. И немудрено, ибо в условиях “социальной инверсии” официальные институты с древнейшими вывесками занимались несвойственными им делами: так, на кафедрах философии подавляли познавательную активность, в писательских учреждениях губили литературный талант, в социологических заведениях, соответственно, стерилизовали подлинное социальное познание и т. д. Конечно, эта ситуация здесь гиперболизирована; в истории тоталитаризма было немало исключений, каждое из которых представляет собой частный комментарий к работе тоталитарного механизма.

Что же касается интеллигентов, отличавшихся большей мерой наивности, которые хотя бы ненадолго отождествляли свои убеждения с официальной идеологией, то это часто стоило им утраты душевного равновесия, поскольку основания здравого смысла в их психике были поколеблены.

Итак, историческая судьба официальной советской социологии – ее неразрывная связь с тоталитарной идеологией – проявилась в содержании и стиле ее произведений, в методах и методологии, в отношениях между людьми, структурах научных подразделений, наконец, в личностных чертах социологов. Некоторые априорные мифы, взращенные в социологической среде – о научности, нравственности, полезности социологии для общества – имели узкоклановое хождение и опровергались широкой общественностью. Так, в контексте советскости нравственность отождествлялась с полезностью властям; социологи по мере сил старались помочь “директивным органам” осуществить их намерения, в числе которых, по-видимому, и было падение

режима. Что до рядового читателя, то очень редкие публикации вызывали у него подлинный интерес.

Большинство социологических текстов эпохи тоталитаризма оказались заключенными в историческом “застенке”, который вмиг стал непрестижным, хотя их авторы не только живехоньки, но и располагаются почти в тех же нишах. Это касается не только теоретических трудов, опирающихся на марксизм, но и добросовестно выполненных эмпирических исследований, материал которых вполне мог бы пригодиться для будущих социологических сравнений. Однако пользоваться им без поправок на тоталитарную деформацию практически невозможно, процедуры же реконструкции аутентичного смысла достаточно сложны; да и вообще сомнительно, чтобы кому-либо из новых пришло в голову заняться такой работой.

В текстах неофициальной и полуофициальной (в том числе – эзоповской) социологии содержалась не только фрондерская игра в покусывание пяток тоталитарной идеологии, но и небанальные методологические и теоретические идеи об условиях человеческого существования и методах познавательной деятельности (этой части социологической литературы мы тут не касались). Остальные же откровения социологов во многом растворились в тогдашней стратегии намеков и противоцензурных хитростях, так что их (откровений) истинное содержание исчезает и исчезает вместе с современниками, которые еще помнят ключ дешифровки. Впрочем, немало таких, которые продолжают и в наши дни шуршать тогдашними социологическими заклинаниями – “как будто ничего и не произошло”.